

# Николай Лесков

## Жидовская кувырколлегия

### Глава первая

Дело было на святках после больших еврейских погромов. События эти служили повсеместно темой для живых и иногда очень странных разговоров на одну и ту же тему: как нам быть с евреями? Куда их выпроводить, или кому подарить, или самим их на свой лад переделать? Были охотники и дарить, и выпроваживать, но самые практические из собеседников встречали в обоих этих случаях неудобство и более склонялись к тому, что лучше евреев приспособить к своим домашним надобностям – по преимуществу изнурительным, которые вели бы род их на убыль.

– Но это вы, господа, задумываете что-то вроде «египетской работы», – молвил некто из собеседников... – Будет ли это современно?

– На современность нам смотреть нечего, – отвечал другой: – мы живем вне современности, но евреи прескверные строители, а наши инженеры и без того гадко строят. А вот война... военное дело тоже убыточно, и чем нам лить на полях битвы русскую кровь, гораздо бы лучше поливать землю кровью жидовскою.

С этим согласились многие, но только слышались возражения, что евреи ничего не стоят как воины, что они – трусы и им совсем чужды отвага и храбрость.

А тут сидел один из заслуженных военных, который заметил, что и храбрость, и отвагу в сердца жидов можно влить.

Все засмеялись, и кто-то заметил, что это до сих пор еще никому не удавалось.

Военный возразил:

– Напротив, удавалось, и притом с самым блестящим результатом.

– Когда же это и где?

– А это целая история, о которой я слышал от очень верного человека.

Мы попросили рассказать, и тот начал.

– В Киеве, в сороковых годах, жил некто полковник Стадников. Его многие знали в местном высшем круге, образовавшемся из чиновного населения, и в среде настоящего киевского аристократизма, каковым следует, без сомнения, признавать «киевских старожилов мещан». Эти хранили тогда еще воспоминания о своих магдебургских правах и своих предках, выезжавших, в силу тех прав, на днепровскую Иордань верхом на конях и с рушницами, которые они, по команде, то вскидывали на плечо, то опускали «товстым кинцем до чобота!» Захудалые потомки этой настоящей киевской знати именовали Стадникова «Штаниковым»; так, вероятно, на их вкус выходило больше «по-московски» или, просто, так было легче для их мягкого и нежного произношения.

Стадников пользовался в городе хорошою репутациею и добрым расположением; он был отличный стрелок и, как настоящий охотник, сам не ел дичи, а всегда ее раздаривал. Поэтому известная доля общества была даже заинтересована в его охотничьих успехах. Кроме того, полковник был, что называется, «приятный собеседник». Он уже довольно прожил на своем веку; честно служил и храбро сражался; много видел умного и глупого и при случае умел рассказать занимательную историйку.

В рассказах Стадников всегда держался короткого, так сказать, лапидарного стиля, в котором прославился король баварский, но наивысшего совершенства, по моему мнению, достиг Степан Александрович Хрулев.

Стадников, впрочем, и с вида был похож на Хрулева да имел и некоторые другие, сходные с ним, черты. Так, он, например, подобно Хрулеву, мог играть в карты без сна и без отдыха по целой неделе. Соперников по этой выносливости у него во всем Киеве не было ни одного, но были только два, достойные его сил, партнера. Один из них был просто иерей, а другой – протоиерей. Первого из них звали Евфимием, а другого – Василием. Оба они были люди предобрые и пользовались в городе большою известностью, а притом обладали как

замечательными силами физическими, так и дарами духовными. Но при всем том полковник далеко превосходил их в выносливости и однажды до того их спутал, что отец протоиереи, перейдя от карточного стола к совершению утреннего служения, не вовремя позабылся и, вместо положенного возгласа: «яко твое царство», – возгласил причетнику: «пасс!»

Впрочем, в доброй компании, которая состояла из этих трех милых людей, не только делали, что играли: случалось, что они иногда отрывались от карт для других занятий, например, закусывали и кое о чем говорили. Рассказывал, впрочем, по преимуществу, более один Стадников и как некоторые примечали, он, будто бы, как рассказчик, не очень строго держался сухой правды, а немного «расцвечал» свои повествования, или, как по-охотничьи говорится, немножко привирал, но ведь без этого и невозможно. Довольно того, что полковник делал это так складно и ладно, что вводную неправду у него было очень трудно отличать от действительной основы. Притом же Стадников был неуступчив и переспорить его было невозможно. Рассказывали, будто полковник победоносно выходил из всевозможных в этом роде затруднений до того, что его никто никогда не останавливал и ему не возражали; да это и было бесполезно. Один раз полковник ошибкой или по увлечению сказал, будто он имел где-то в степях ордынских овец, у которых было по пуду в курдюке, а некто, случившийся здесь, перехватил еще более, что у его овец по пуду слишком... Полковник только посмотрел на смельчака и спросил с состраданием:

– Да, но что же такое было в хвостах у ваших овец?

– Разумеется, сало, – отвечал собеседник.

– Ага, то-то и есть! А у моих был воск!

Тем и покончил. Разумеется, с таким человеком спорить было невозможно, но слушать его приятно.

Говорить здесь любили о материях важных, и один раз тут при мне шла замечательная речь о министрах и царедворцах, причем все тогдашние вельможи были подвергаемы очень строгой критике; но вдруг усилием одного из иереев был выдвинут и высокопревознесен Николай Семенович Мордвинов, который «один из всех» не взял денег жидов и настоял на призыве евреев к военной службе, наравне со всеми прочими податными людьми в русском государстве.

История эта, сколько помню, излагалась тогда таким образом.

Когда государь Николай Павлович обратил внимание на то, что жида не несут рекрутской повинности, и захотел обсудить это с своими советниками, то жида подкупили, будто, всех важных вельмож и согласились советовать государю, что евреев нельзя брать в рекруты на том основании, что «они всю армию перепортят». Но не могли жида задарить только одного графа Мордвинова, который был хоть и не богат, да честен, и держался насчет жидов таких мыслей, что если они живут на русской земле, то должны одинаково с русскими нести все тягости и служить в военной службе. А что насчет порчи армии, то он этому не верил. Однако еврей все-таки от своего не отказывались и не теряли надежды сделаться как-нибудь с Мордвиновым: подкупить его или погубить клеветой. Нашли они какого-то одного близкого графу бедного родственника и склонили его за немалый дар, чтобы он упросил Мордвинова принять их и выслушать всего только «два слова»; а своего слова он им мог ни одного не сказать. Иначе дали намек, что они все равно, если не так, то иначе графа остепенят.

Бедный родственник соблазнился, принял жидовские дары и говорит графу Мордвинову:

– Так и так, вы меня при моей бедности можете осчастливить.

Граф спрашивает:

– Что же для этого надо сделать, какую неправду?

А бедный родственник отвечает:

– Никакой неправды не надо, а надо только, чтобы вы для меня два жидовские слова выслушали и ни одного своего не сказали. Через это, – говорит, – и вам собственный покой и интерес будет.

Граф подумал, улыбнулся и, как имел сердце очень доброе, то отвечал:

– Хорошо, так и быть, я для тебя это сделаю: два жидовские слова выслушаю и ни одного своего не скажу.

Родственник побежал к жидам, чтобы их обрадовать, а они ему сейчас же обещанный дар выдали настоящими золотыми лобанчиками, по два рубля семи гривен за штуку, только не прямо из рук в руки кучкой дали, а каждый лобанчик по столу, покрытому сукном, перешмыгнули, отчего с каждого золотого на четвертак золотой пыли соскочило и в их пользу осталось. Бедный же родственник ничего этого не понял и сейчас побежал себе домик купить, чтобы ему было где жить с родственниками. А жида на другое же утро к графу и принесли с собою три сельдяных бочонка.

Камердинер графский удивился, с какой это стати графу селедки принесли, но делать было нечего, допустил положить те бочонки в зале и пошел доложить графу. А жида, меж тем, пока граф к ним вышел, эти свои сельдяные бочонки раскрыли и в них срезь с краями полно золота. Все монетки новенькие, как жар горят, и биты одним калибром: по пяти рублей пятнадцати копеек за штуку.

Мордвинов вошел и стал молча, а жида показали руками на золото и проговорили только два слова: «Возьмите, – молчите», а сами с этим повернулись и, не ожидая никакого ответа, вышли.

Мордвинов велел золото убрать, а сам поехал в государственный совет и, как пришел, то точно воды в рот набрал – ничего не говорит... Так он молчал во все время, пока другие говорили и доказывали государю всеми доказательствами, что евреям нельзя служить в военной службе. Государь заметил, что Мордвинов молчит, и спрашивает его:

– Что вы, граф Николай Семенович, молчите? Для какой причины? Я ваше мнение знать очень желаю.

А Мордвинов будто отвечал:

– Простите, ваше величество, я не могу ничего говорить, потому что я жидам продался.

Государь большие глаза сделал и говорит:

– Этого быть не может.

– Нет, точно так, – отвечает Мордвинов: – я три сельдяные бочонка с золотом взял, чтобы ни одного слова правды не сказывать.

Государь улыбнулся и сказал:

– Если вам три бочонка золота дали за то, чтобы вы только молчали, сколько же надо было дать тем, которые взялись говорить?... Но мы это теперь без дальних слов покончим.

И с этим взял со стола проект, где было написано, чтобы евреев брать в рекруты наравне с прочими, и написал: «быть по сему». Да в прибавку повелел еще за тех, кои, если уклоняться вздумают, то брать за них трех, вместо одного, штрафу.

Кажется, это построено слишком по австрийскому анекдоту, известному под заглавием: «одно слово министру...». Из этого давно сделана пьеска, которая тоже давно уже разыгрывается на театрах и близко знакома русским по Превосходному исполнению Самойловым трудной мимической роли жида; но в то время, к которому относится мой рассказ, этот слух ходил повсеместно, и все ему вполне верили, и русские восхваляли честность Мордвинова, а евреи жестоко его проклинали.

Анекдот этот был целиком вспомнят в той задушевной беседе полковника Стадникова с иереями Василием и Евфимием, с которой начинается наш рассказ, и отсюда речь повели далее.

Не любивший делать в чем бы то ни было уступки, полковник не выдержал и сказал:

– Да, эта песня всем знакома, и давно вы ее все дудите, а того никто не знает, что все бы это ни к чему еще не повело, если бы в это дело не вмешался еще один человек. – И неуступчивый полковник сейчас же пояснил, что Мордвинов настроил это дело только в теории, а на самом исполнении оно еще могло погибнуть. И в этой своей, гораздо более важной, части оно спасено другим лицом, с которым Мордвинов, по справедливости, должен бы поделиться честью. Но как справедливости нет на земле, то этот достойный человек не только ничем не награжден, но даже остается в полнейшей неизвестности.

– А кто же это такой? – спросили оба иерея.

– Это один простодушный кромчанин незнатного происхождения, по имени Симеон Машкин или Мамашкин, – судя по фамилии, должно быть, сын пылкой, но незаконной любви, которому я дал за всю его патриотическую услугу три гривенника, да и те ему впрок не

пошли.

Отцы иереи вспомнили, как полковник спорил про бараньи курдюки, и сказали:

– Ну, это вы, вероятно, опять что-нибудь такое, из чего воск выйдет.

Но полковник отвечал, что это не воск, а история, и притом самая настоящая, самая правдивая история, которой ни за что бы не должно забыть неблагодарное потомство, ибо она свидетельствует о ясном уме и глубокой сообразительности человека из народа.

– Ну, так подавайте вашу историю и, если она интересна, мы ее охотно послушаем.

– Да, она очень интересна, – сказал Стадников и, перестав тасовать карты, начал следующее повествование.

## Глава вторая

Весть, что еврейская просьба об освобождении их от рекрутства не выиграла, стрелю пролетела по пантофлевой почте во все места их оседлости. Тут сразу же и по городам, и по местечкам поднялся ужасный гвалт и вой. Жиды кричали громко, а жидовки еще громче. Все всполошились и заметались как угорелые. Совсем потеряли головы и не знали, что делать. Даже не знали, какому богу молиться, которому жаловаться. До того дошло, что к покойному императору Александру Павловичу руки вверх все поднимали и вопили на небо:

– Ай, Александер, Александер, посмотри, що з нами твий Миколайчик робит!

Думали, верно, что Александр Павлович, по огромной своей деликатности, оттуда для них назад в Ильиной колеснице спустится и братнино слово «быть по сему» вычеркнет.

Долго они с этим, как угорелые, по школам и базарам бегали, но никого с неба не выкликали. Тогда все вдруг это бросили и начали, куда кто мог, детей прятать. Отлично, шельмы, прятали, так что никто не мог разыскать. А которым не удалось спрятать, те их калечили, – плакали, а калечили, чтобы сделать негодными.

В несколько дней все молодое жидовство, как талый снег, в землю ушло или поверглось в отвратительные лихие болести. Этакой гадости, какую они над собой производили, кажется, никогда и не видала наша сарматская сторона. Одни сплошь до шеи покрывались самыми злокачественными золотушными паршами, каких ни на одной русской собаке до тех пор было не видано; другие сделали себе падучую болезнь; третьи охромели, окривели и осухоручели. Бретонские компрачикосы, надо полагать, даже не знали того, что тут умели делать. В Бердичеве были слухи, будто бы объявился такой доктор, который брал сто рублей за «прецепт», от которого «кишки наружу выходили, а душа в теле сидела». Во многих польских аптеках продавалось какое-то жестокое снадобье под невинным и притом исковерканным названием: «капель с датского корабля». От этих капель человек надолго, чуть ли не на целые полгода, терял владение всеми членами и выдерживал самое тщательное испытание в госпиталях.<sup>1</sup> Все это покупали и употребляли, предпочитая, кажется, самые ужасные увечья служебной неволе. Только умирать не хотели, чтобы не сокращать чрез то род израилев.

Набор, назначенный вскоре же после решения вопроса, с самого начала пошел ужасно туго, и вскоре же понадобились самые крутые меры побуждения, чтобы закон, с грехом пополам, был исполнен. Приказано было за каждого недоимочного рекрута брать трех штрафных. Тут уже стало не до шуток. Сдатчики набирали кое-каких, преимущественно, разумеется, бедняков, за которых стоять было некому. Между этими попадались и здоровенькие, так как у них, видно, не хватало средств, чтобы купить спасительных капель «с датского корабля». Иной, бывало, свеклой ноженьки вымажет или ободранный козий хвостик себе приткнет, будто кишки из него валяются, но сейчас у него это вытащат и браво – лоб забреют, и служи богу и государю верой и правдой.

Со всеми возмутительными мерами побуждения кое-какие полукалеки, наконец, были забриты и началась новая мука с их устройством к делу. Вдруг сюрпризом начало обнаруживаться, что евреи воевать не могут. Здесь уже ваш Николай Семенович Мордвинов

<sup>1</sup> О таком же способе рассказывает в одном месте известный знаток солдатской жизни А.Ф. Погосский. Секрет этот знали и русские знахарки и обманывали им врачей с блистательным успехом. (Прим. автора)

никакой помощи нам оказать не мог, а военные люди трусили, как бы «не пошел портеж в армии». Жидки же этого, разумеется, весьма хотели и пробовали привести в действие хитрость несказанную.

## Глава третья

Набрано было евреев в войска и взрослых, и малолеток, которым минуло будто уже двенадцать лет. Взрослых было немного сравнительно с малолетками, зато с ними возни было во сто раз более, чем с малолетками. Маленьких помещали в батальоны военных кантонистов, где наши отцы духовные, по распоряжению отцов-командиров, в одно мановение ока приводили этих ребятишек к познанию истин православной христианской веры и крестили их во славу имени господина Иисуса, а со взрослыми это было гораздо труднее, и потому их оставляли при всем их ветхозаветном заблуждении и размещали в небольшом количестве в команды.

Все это была, как я вам сказал, самая препоганая калечь, способная наводить одно уныние на фронт. И жалостно, и смешно было на них смотреть, и поневоле думалось:

«Из-за чего и спор был? Стоило ли брать в службу таких козерогов, чтобы ими только фронт поганить?»

Само дело показывало, что надо их убирать куда-нибудь с глаз подальше. В большинстве случаев они и сами этого желали и сразу же, обняв умом свое новое положение, старались попадать в музыкантские школы или в швальни, где нет дела с ружьем. А от ружья пятились хуже, чем черт от поповского кропила, и вдруг обнаружили твердое намерение от настоящего военного ремесла совсем отбиться.

В этом роде и началась у нас могущественная игра природы, которой вряд ли быть бы выигранною, если бы на помощь государству не пришел острый гений Семена Мамашкина. Задумано это было очень серьезно и, по несчастию, начало практиковаться как раз в той маленькой отдельной части, которою я тогда командовал, имея в своем ведении трех жидовинов.

## Глава четвертая

Я тогда был в небольшом чине и стоял с ротою в Белой Церкви. (Свой чин полковника Стадников почитал уже большим. Тогда на чины было поскупее нынешнего.) Белая Церковь, как вам известно, это жидовское царство: все местечко сплошь жидовское. Они тут имеют свою вторую столицу. Первая у них – Бердичев, а вторая, более старая и более загаженная, – Белая Церковь. У них это соответствует своего рода Петербургу и Москве. Так это и в жидовских прибаутках сказывается.

Жизнь в Белой Церкви, можно сказать, была и хорошая, и прескверная. Виден палац Браницких и их роскошный парк – Александрия. Река тоже прекрасная и чистая, Рось, которая свежит одним своим приятным названием, не говоря уже об ее прозрачных водах. Воды эти текут среди таких берегов, которыми вволю налюбоваться нельзя, а в местечке такая жидовская нечисть, что жить невозможно. Всякий день, бывало, дегтярным мылом с ног до головы моешься, чтобы не покрыться паршами или коростой. Это – одна противность квартирования в жидовских местечках; а другая заключается в том, что как ни вертись, а без жидов тут совсем пропасть бы пришлось, потому что жид сапоги шьет, жид кастрюли лудит, жид булки печет, – все жид, а без него ни «пру», ни «ну». Противное положение!

Офицеров со мною было три человека, да все, как говорят, с бычками. Один из них, всех постарше, был русский, по фамилии Рослов, из солдат, все богу молился и каждое первое число у себя водосвятие правил. Жидов он за людей не считал. Другой был немец, по фамилии Фингершпилер, очень большой чистюля: снаружи все чистился, а изнутри, по собственному его выражению, «сохранял себя в спирту», т. е. был всегда пьян. В редкие минуты просветления, когда Фингершпилер случался без спиртного сохранения, он был очень скор на руку, но, впрочем, службист. Третий же, в чине прапорщика, только что был произведен из

фендриков, в которые его сдали тетки, недовольные какими-то его семейными качествами. И он, и его тетки были русские, но за какое-то наказание или, может быть, для важности – судьба дала им иностранные фамилии и притом пресмешные. Из его собственной фамилии солдаты сделали «Полуферт», а тетки его назывались, кажется: одна – мадам Сижу, а другая – мадам Лежу. Ни в одном из этих господ я не имел настоящего помощника на предстоящий мне трудный подвиг, но прапорщик был мне всех вреднее. Полуферт имел отвратительные свойства. Это был аристократически глупый хлыщ и нестерпимый резонер, а в то же время любил деньги и не страдал разборчивостью в средствах для их приобретения. Он даже занимал деньги у фельдфебеля и не отдавал их ему в срок, но любил делать дамам презенты и сопровождал их стихами своего сочинения. Но что было для меня всего непереноснее в этом человеке – это его ужасная привычка говорить по-французски, тогда как он, несмотря на свою полуфранцузскую фамилию, не знал ни одного слова на этом языке. На день, на два – это смешно, но в долготу дней, на летнем постое, такая штука нервного человека в гроб уложить может. Службою Полуферт занимался мало, а больше всего рисовал родословное дерево с длинными хворостинами, на которых он рассаживал в кружках каких-то перепелок с коронами на макушках. Это все были его предки, через которых он имел твердое намерение доказать свое прямое родство с какою-то княжескою линиею от Бурбонских блюдолизов. Тут же были и m-me Сижу и m-me Лежу.

Полуферту очень хотелось быть князем, и то с корыстной целью, чтобы жениться в Москве на какой-нибудь богатой купчихе. Пока он искал тридцати тысяч займа, чтобы дать кому-то в герольдии за утверждение его в княжестве; но только у нас-то ни у кого таких денег не было, и он твердил себе на ветер:

– Муа же сюи юн пренс!

Это «пренс» было для него самое главное в жизни, а между тем, при ханжестве одного офицера и пьянстве другого, этот Полуферт был моим самым надежным помощником в то роковое время, когда мне в роту были присланы три новобранца-жидовина, из которых от каждого можно было прийти в самое безнадежное отчаяние. Попробую их вам представить.

## Глава пятая

Один из трех первозванных жидов, мною полученных, был рыжий, другой – черный или вороной, а третий – пестрый или пегий. По последнему прошла какая-то прелюбопытная игра причудливой природы: у него на голове были три цвета волос и располагались они, не переходя из тона в тон с какою-нибудь постепенностью, а прямо располагались пестрыми клочками друг возле друга. Вся его башка была как будто холодильный пузырь из шотландкой клеенки – вся пестрая. Особенно чуден был хохол – весь седой, отчего этот жидовин имел некоторым образом вид черта, каких пишут наши благочестивые изографы на древних иконах.

Словом, из всех трех, что ни портрет – то рожа, но каждый антик в своем роде; так, например, у рыжего физия была прехитрая и презлая, и, к тому же, он заикался. Черный смотрел дураком и на самом деле был не умен или, по крайней мере, все мы так думали до известного случая, когда мудрец Мамашкин и в нем ум отыскал. У этого брюнета были престрашной толщины губы и такой жирный язык, что он во рту не вмещался и все наружу лез. Одно то, чтобы выучить этого франта язык за губы убирать, невесть каких трудов стоило, а к обучению его говорить по-русски мы даже и приступать не смели, потому что этому вся его природа противилась, и он, при самых усиленных стараниях что-нибудь выговорить, мог только плевать. Но третий, пегий или пестрый, имел безобразие, которое меня даже к нему как-то располагало. Это был человек удивительно плоскорожий, с впалыми глазами и одним только жидовским носом навывкате; но выражение лица имел страдальческое и притом он лучше всех своих товарищей умел говорить по-русски.

Летами этот пегий был старше товарищей: тем двум было этак лет по двадцати, а пегому, хотя значилось двадцать четыре года, но он уверял, будто ему уже есть лет за тридцать. В эти годы жидов уже нельзя было сдавать в рекруты, но он, вероятно, был сдан на основании присяжного удостоверения двенадцати добросовестных евреев, поклявшихся всемогущим Еговою, что пегому только двадцать четыре года.

Клятвопреступничество тогда было в большом ходу и даже являлось необходимостью, так как жиды или совсем не вели метрических книг, либо предусмотрительно пожгли их, как только слышали, «що з ними Миколайчик зробит». Без книг лета их стали определять по так называемому присяжному разысканию. Соберут, бывало двенадцать прохвостов, приведут их к присяге с незаметным нарушением форм и обрядов, – и те врут, что им закажут. Кому надо назначить сколько лет, столько они и покажут, а власти обязаны были им верить... Смех и грех!

Так, бывало, и расхаживают такие шайки присяжных разбойников, всегда числом по двенадцати, сколько закон требует для несомненной верности, и при них всегда, как при артели, свой рядчик, который их водит по должностным лицам и осведомляется:

– Чи нема чого присягать?

Отвратительнейшее растление, до какого едва ли кто иной доходил, и все это, повторяю, будучи прикрыто именем всемогущего Еговы, принималось русскими властями за доказательство и даже протезировалось...

Так был сдан и мой пегий воин, которого имя было Лейзер, или по-нашему, – Лазарь.

И имя это чрезвычайно ему шло, потому что он весь, как я вам говорю, был прежалкий и внушал к себе большое сострадание.

Всегда этот Лазарь был смирен и безответен; всегда смотрел прямо в глаза, точно сейчас высеченный пудель, который старается прочесть в вашем взгляде: кончена ли произведенная над ним экзекуция или только рука у вас устала и по малом ее отдыхе, начнется новое продолжение.

## Глава шестая

Пегий был дамский портной и, следуя влечению природы, принес с собою из мира в команду свою портновскую иглу с вошеной ниткой и ножницы, и немедленно же открыл мастерскую и пошел всей этой инструментинной действовать.

Более он производил какие-то «фантазии» – из старого делал новое, потому что тогда в провинции в моду вошли какие-то этакие особенные мантилии, которые назывались «палантины». Забавная была штука: фасон – совершенно как будто мужские панталоны, – так это и носили: назади за спиною у дамы словно огузье треплется, а наперед, через плечи, две штанины спущены. Пресмешно, точно солдат, который штаны вымыл и домой их несет, чтобы на ветерке сохли. И сходство это солдатами было замечено и вело к некоторым неприятностям, которым я должен был положить конец весьма энергическою мерою.

Вымоет, бывало, солдат на реке свои белые штаны, накинёт их на плечи палантином и идет. А один до того разрезвился, что, встретясь с становихой, присел ей по-дамски и сказал:

– Кланяйтесь бабушке и поцелуйте ручку.

Становой на это пожаловался, и я солдатика велел высечь.

Лазарь отлично строил эти палантины из старых платьев и нарядил в них всех белоцерковских пань и панянок. Но, впрочем, говорили, что он тоже и новые платья будто хорошо шил. Я в этом, разумеется, не знаток, но меня удивляло его досужество – как он добывал для себя работу и где находил место ее производить? Тоже удивительна мне была и цена, какую он брал за свое артистическое искусство: за целое платье он брал от четырех до пяти злотых, т. е. шестьдесят или семьдесят пять копеек. А палантины прямо ставил по два злота за штуку и притом половину из этого еще отдавал фельдфебелю или, по-ихнему – «подфебелю», чтобы от него помехи в работе не было, а другую половину посылал куда-то в Нежин или в Каменец семейству «на воспитание ребенков и прочего семейства».

«Ребенков» у него было, по его словам, что-то очень много, едва ли не «семь штук», которые «все себе имеют желудки, которые кушать просят».

Как не почтить человека с такими семейными добродетелями, и мне этого Лазаря, повторяю вам, было очень жалко, тем больше, что, обиженный от своего собственного рода, он ни на какую помощь своих жидов не надеялся и даже выражал к ним горькое презрение, а это, конечно, не проходит даром, особенно в роде жидовском.

Я его раз спросил:

– Как ты это, Лазарь, своего рода не любишь?

А он отвечал, что добра от них никакого не видел.

– И в самом деле, – говорю я, – как они не пожалели, что у тебя семь «ребенков» и в рекруты тебя отдали? Это бессовестно.

– Какая же, – отвечает он, – у наших жидов совесть?

– Я, мол, думал, что по крайности, хоть против своих чего-нибудь посовестятся, ведь вы все одной веры.

Но Лазарь только рукой махнул.

– Неужели, – спрашиваю, – они уж и бога не боятся?

– Они, – говорит, – его в школе запирают.

– Ишь, какие хитрые!

– Да, хитрее их, – отвечает, – на свете нет.

Таким образом, если замечаете, мы с этим пегим рекрутом из жидов даже как будто единомыслили и пришли в душевное согласие, и я его очень полюбил и стал лелеять тайное намерение как-нибудь облегчить его, чтобы он мог больше зарабатывать для своих «ребенков».

Даже в пример его своим ставил как трезвого и трудолюбивого человека, который не только сам постоянно работает, но и обоим своим товарищам к делу приспособил: рыжий у него что-то подшивал, а черный губан утюги грел да носил.

В строю они учились хорошо; фигуры, разумеется, имели неважные, но выучились стоять прямо и носки на маршировке вытягивать, как следует, по чину Мельхиседекову. Вскоре и ружьем стали артикул выкидывать, – словом все, как подобало; но вдруг, когда я к ним совсем расположился и даже сделался их первым защитником, они выкинули такую каверзу, что чуть с ума меня не свели. Измыслили они такую штуку, что ею всю мудрую стойкость Мордвинова чуть под плотину не выбросили, если бы не спас дела Мамашкин.

Вдруг все мои три жида начали «падать»!

Все исполняют как надо: и маршировку, и ружейные приемы, а как им скамандуют: «пали!» – они выпалят и повалятся, ружья бросят, а сами ногами дрыгают...

И заметьте, что ведь это не один который-нибудь, а все трое: и вороной, и рыжий, и пегий... А тут точно назло, как раз в это время, получается известие, что генерал Рот, который жил в своей деревне под Звенигородкою, собирается объехать все части войск в местах их расположения и будет смотреть, как обучены новые рекруты.

## Глава седьмая

Рот – это теперь для всех один звук, а на нас тогда это имя страх и трепет наводило. Рот был начальник самый бедовый, каких не дай господи встречать: человек сухой, формалист, желчный и злой, притом такая страшная придира, что угодить ему не было никакой возможности. Он всех из терпения выводил, и в подведомых ему частях тогда того только и ждали, что его кто-нибудь прикончит по образу графа Каменского или Аракчеевской Настьки. Был, например, такой случай, что один ремонтер, человек очень богатый, подержал пари, что он избежит от Рота всяких придинок, и в этом своем усердии ремонтер затратил на покупку много своих собственных денег и зато привел превосходных коней, что на любой императору сесть не стыдно. Особенно между ними одна всех восхищала, потому что во всех статьях была совершенство. Но Рот, как стал смотреть, так у всех нашел недостатки и всех перебраковал. А как дошло дело до этой самой лучшей, тут и вышла история.

Вывели эту лошадушку, а она такая веселая, точно барышня, которая сама себя показать хочет: хвост и гриву разметала и заржала.

Рот к этому и придрался:

– Лошадь, – говорит, – хороша, а голос у нее скверный.

Тут ремонтер уже не выдержал.

– Это, – говорит, – ваше высокопревосходительство, оттого, что «рот» скверен.

Анекдот этот тогда разошелся по всей армии.

Генерал понял, рассердился, а ремонтера в отставку выгнал.



С таким-то, прости господи, чертом мне надо было видеться и представлять ему падучих жидов. А они, заметьте, успели уже произвести такой скандал, что солдаты их зачислили особою командою и прозвали «Жидовская кувыркаллегия».

Можете себе представить, каково было мое положение! Но теперь извольте же прослушать, как я из него выпутался.

## Глава восьмая

Разумеется, мы всячески бились отучить наших жидков от «падежа», и труды эти составляют весьма характерную историю.

Самый первый одобрительный прием в строю тогдашнего времени был хороший материальный окрик и два-три легких угощения шато-скуловоротом. Это подносилось в счет абонемента, а потом следовало поднятие казенных хвостиков у мундира за фронтом и, наконец, настоящие розги в обширной пропорции. Все это и было испробовано как следует, но не помогло: опять чуть скомандуют «пали» – все три жидовина с ног валятся.

Велел я их очень сильно взбрызнуть, и так сильно сбрызнули, что они перестали шить сидя, а начали шить лежа на животах, но все-таки при каждом выстреле падают.

Думаю: давай я их попробую какими-нибудь трогательными резонами обрезать.

Призвал всех троих и обращаю к ним свое командирское слово:

– Что это, – говорю, – вы такое выдумали – падать?

– Сохрани бог, ваше благородие, – отвечает пегий: мы ничего не выдумываем, а это наша природа, которая нам не позволяет палить из ружья, которое само стреляет.

– Это еще что за вздор!

– Точно так, отвечает: – потому Бог создал жида не к тому, чтобы палить из ружья, ежели которое стреляет, а мы должны торговать и всякие мастерства делать. Мы ружьем, которое стреляет, все махать можем, а стрелять, если которое стреляет, – мы этого не можем.

– Как так «которое стреляет»? Ружье всякое стреляет оно для того и сделано.

– Точно так, – отвечает он: – ружье, которое стреляет, оно для того и сделано.

– Ну, так и стреляйте.

Послал стрелять, а они опять попадали.

## Глава девятая

Черт знает, что такое! Хоть рапорт по начальству подавай, что жида по своей природе не могут служить в военной службе.

Вот тебе и Мордвинов и вся его победа над супостатом!

Срам и досада! И стало мне казаться, что надо мною даже свои люди издеваются и подают мне насмешливые советы.

Так, например, поручик Рослое все советовал «перепороть их хорошенько».

– Пороны уже, – говорю, – они достаточно.

– Выпороть, – говорит, – еще их «на-бело» и окрестить. Тогда они иной дух примут.

Но отец-батюшка, который там был, сомневался и говорил, что крещение, пожалуй, не поможет, а он иное советовал.

– Надо бы, – говорит, – выписать из Петербурга протоиерейского сына, который из духовного звания в техноложцы вышел.

– Что же, – говорю, – тут техноложец может сделать!

– А он, – говорит, – когда в прошлом году к отцу в гости приезжал, то для маленькой племянницы, которая ходить не умела, такие ходульные креслица сделал, что она не падала.

– Так это вы хотите, чтобы и солдаты в ходульных креслицах ходили?

И только ради сана его не обругал материально, а послал его ко всем чертям мысленно.

А тут Полуферт приходит и говорит, что будто точно такая же кувыркаллегия началась и в других частях, которые стояли в Василькове, в Сквире и в Тараше.

– Я даже, говорит, – «пар сет оказиен» и стихи написал: вот «экютэ», пожалуйста.

И начинает мне читать какую-то свою рифмованную окрошку из слов жидовских, польских и русских.

Целым этим стихотворением, которое я немного помню, убедительно доказывалось, что евреям не следует и невозможно служить в военной службе, потому что, как у моего поэта было написано:

Жид, который привык торговать  
Люкем и гужалькем,  
Ляпсардак класть на спину  
И подпирацься с палькем;  
Жид, ктурый, як се уродзил,  
Нигде по воде без мосту не ходзил.

И так далее, все «который», да «ктурый», и в результате то, что жиду никак нельзя служить в военной службе.

– Так что же по-вашему с ними делать?

– Перепасе люи дан отр режиман.

– Ага? «перепасе...» А вы, говорю, напрасно им заказываете палантины для ваших «танте» шить.

Полуферт сконфузился и забожился.

– Нон, дьо ман гард, – говорит, – я это просто так, а ву ком вуле ву, и же ву зангаже в цукерню – выпьемте по рюмочке высочайше утвержденного.

Я, разумеется, не пошел.

Досада только, что черт знает, какие у меня помощники, даже не с кем посоветоваться: один глуп, другой пьян без просыпа, а третий только поэзию разводит, да что-то каверзит.

Но у меня был денщик-хохол из породы этаких Шельменок; он видит мое затруднение и говорит:

– Ваше благородие, осмеливаюсь я вашему благородию доложить, что как ваше благородие с жидами ничего не зробице, почему що як ваше благородие из России, которые русские люди к жидам непривычные.

– А ты, привычный, что ты мне посоветуешь?

– А я, – отвечает, – тое вам присоветую, що тут треба поляка приставить; есть у нас капральный из поляков, отдайте их тому поляку, – поляк до жида майстровитее.

Я подумал:

– А и справды попробовать! поляки их круто донимали.

Поляк этот был парень ловкий и даже очень образованный; он был из шляхты, не доказавшей дворянства, но обладал сведениями по истории и однажды пояснил мне, что есть правление, которое называется республика, и есть другое – республиканция. Республика – это выходило то, где «есть король и публика, а республиканция, где нет королю вакансии».

Велел я позвать к себе этого образованного шляхтича и говорю ему:

– Ведь ты, братец, поляк?

– Действительно так, – отвечает, – римско-католического исповедания, верноподданный его императорского величества.

– Ты, говорят, – отлично знаешь евреев?

– Еще как маленький был, то их тогда горохом да клюквой стрелял для испугания.

– Знаешь ты, какую у нас жида досаду делают, – падают. Не можешь ли ты их отучить?

– Со всем моим удовольствием.

– Ну, так я отдаю их на твою ответственность. Делай с ними что знаешь, только помни, что они уже до сих пор и начерно и набело выпороны, так что даже сидеть не могут, а лежа на брюхе работают.

– Это, – отвечает, – ничего, не суть важно: жид поляка не обманет.

– Ну, иди и делай.

– Счастливо оставаться, – говорит, – и завтра же узнаете, что господь бог и поляка недаром создал.

– Хорошо, – говорю, – доказывай.

На другой день иду посмотреть, как мои жидки обретаются, и вижу, что все они уже не сидят и не лежат на брюхе, а стоя шьют.

– Отчего, – спрашиваю, – вы стоя шьете? разве вам так ловко?

– Никак нет, – совсем даже неловко, – отвечают.

– Так отчего же вы не садитесь?

– Невозможно, – отвечают, – потому – мы с этой стороны пострадали.

– Ну, так, по крайней мере, хоть лежа на брюхе шейте.

– Теперь и так, – говорят, – невозможно, потому что мы и с этой стороны тоже пострадали.

Поляк их, извольте видеть, по другой стороне отстрочил. В этом и было все его тонкое доказательство, зачем бог поляка создал; а жидовское падение все-таки и после этого продолжалось.

Узнал я, что мой Шельменко нарочно поляка подвел, и посадил их обоих на хлеб на воду, а сам послал за поручиком Фингершпилером и очень удивился, когда тот ко мне почти в ту же минуту явился и совсем в трезвом виде.

«Вот, думаю, немец их достигнет».

## Глава десятая

– Очень рад, – говорю, – что могу вас видеть и совсем свежего.

– Как же, капитан, – отвечает, – я уже очень давно, даже еще со вчерашнего дня, совсем ничего не пью.

– Ну, вот видите ли, – говорю, – это мне очень большая радость, потому что я терплю смешную, но неодолимую досаду: вы знаете, у нас во фронте три жида, очень смиренные люди, но должно быть отбиться от службы хотят – все падают. Вы – немец, человек твердой воли, возьмитесь вы за них и одолейте эту проклятую их привычку.

– Хорошо, – говорит, – я их отучу.

Учил он их целый день, а на следующее утро опять та же история: выстрелили и попадали.

Повел их немец доучивать, а вечером я спрашиваю вестового:

– Как наши жиды?

– Живы, – говорит, – ваше благородие, а только ни на что не похожи.

– Что это значит?

– Не могу знать для чего, ваше благородие, а ничего распознать нельзя.

Обеспокоился я, не случилось ли чего чересчур глупого, потому что с одной стороны они всякого из терпения могли вывести, а с другой – уже они меня в какую-то меланхолию вогнали и мне так и стало чудиться – не нажить бы с ними беды.

Оделся я и иду к их закуту; но, еще не доходя, встречаю солдата, который от них идет, и спрашиваю:

– Живы жиды?

– Как есть живы, ваше благородие.

– Работают?

– Никак нет, ваше благородие.

– Что же они делают?

– Морды вверх держат.

– Что ты врешь, – зачем морды вверх держат?

– Очень морды у них, ваше благородие, поопухли, как будто пчелы изъели, и глаз не видать; работать никак невозможно, только пить просят.

– Господи! – воскликнул я в душе своей, – да что же за мука такая мне ниспослана с этими тремя жидовинами; не берет их ни таска, ни ласка, а между тем того и гляди, что переломить их не переломишь, а либо тот, либо другой изувечит их.

И уже сам я в эти минуты был против Мордвинова.

– Гораздо лучше, – думаю, – если бы их в рекруты не брали.

Вхожу в таком волнении где были жидаы, и вижу – действительно, все они трое сидят на коленях, а руками в землю опираются и лица кверху задрали.

Но, боже мой, что это были за лица! Ни глаз, ни рта – ничего не рассмотришь, даже носы жидовские и те обесформились, а все вместе скипелось и слилось в одну какую-то безобразную, сине-багровую нашлапку. Я просто ужаснулся и, ничего не спрашивая, пошел домой, понуря голову.

Но тут-то, в момент величайшего моего сознания своей немощи, и пришла ко мне помощь нежданная и необыкновенно могущественная.

## Глава одиннадцатая

Вхожу я в свою квартиру, которая была заперта, после посаждения под арест Шельменки, и вижу – на полу лежит довольно поганенький конвертик и подписан он моему благородию с обозначением слова «секрет».

Все надписание сделано неумелым почерком, вроде того, каким у нас на Руси пишут лавочные мальчишки. Способ доставки мне тоже понравился – подметный, т. е. самый великорусский.

Письмо, очевидно, было брошено мне в окно тем обычным путем, которым в старину подбрасывались изветы о «слове и деле», а поныне возвещается о красном петухе и его детях.

Ломаю конверт и достаю грязноватый листок, на котором начинается сначала долгое титулование моего благородия, потом извинения о беспокойстве и просьбы о прощении, а затем такое изложение: «осмеливаюсь я вам доложить, что как после телесного меня наказания за дамскую никсу (т. е. книксен), лежал я все время в обложной болезни с нутренностями в киевском вошпитале и там дают нашему брату только одну булычку и несчастной суп, то очень желамши черного христианского хлеба, задолжал я фершалу три гривенника и оставил там ему в заклад сапоги, которые получил с богомольцами из своей стороны, из Кром, заместо родительского благословения. А потому прибегаю к вашему благородию как к командеру за помощью: нет ли в царстве вашего благородия столько милосердных денежек на выкуп моего благословения для обуви ног, за что вашему благородию все воздаст бог в день страшного своего пришествия, а я, в ожидании всей вашей ко мне благоволения, остаюсь по гроб жизни вашей роты рядовой солдат, Семеон Мамашкин».

Тем и кончилась страница «секрета», но я был так благоразумен, что, несмотря на подпись, заключающую письмо, перевернул листок и на следующих его страницах нашел настоящий «секрет». Пишет мне далее господин Мамашкин нижеследующее:

«А что у нас от жидов по службе, через их падение начался обегдот и вашему благородию есть опасение, что через то может последовать портеж по всей армии, то я могу все эти кляверзы уничтожить».

Прочел я еще это письмо, и, сам не знаю почему, оно мне показалось серьезным.

Только немало меня удивило, что я всех своих солдат отлично знаю и в лицо и по имени, а этого Семеона Мамашкина будто не слыхивал и про какую он дамскую никсу писал – тоже не помню. Но как раз в это время заходит ко мне Полуферт и напоминает мне, что это тот самый солдатик, который, выполоскав на реке свои белые штаны, надел их на плечи и, встретясь с становихою, сделал ей реверанс и сказал: «кланяйтесь бабушке и поцелуйте ручку». За это мы его в успокоение штатских властей посекли, потом он от какого-то другого случая был болен и лежал в лазарете.

Впрочем, Полуферт рекомендовал мне этого Мамашкина как человека крайне легкомысленного.

– Муа же ле коню бьен, – говорил Полуферт; – сет бет Мамашкин: он у меня в взводе и, – ву саве, – иль мель боку, и все просит себе «хлеба насупротив человеческого положения».

– Пришлите его, пожалуйста, ко мне; я хочу его видеть.

– Не советую, – говорит Полуферт.

– А почему?

– Пар се ке же ву ди – иль мель боку.

– Ну, «мель» не «мель», а я хочу его выслушать.

И с этим кликнул вестового и говорю:

– Слетай на одной ноге, братец, в роту, позови ко мне из второго взвода рядового Мамашкина.

А вестовой отвечает:

– Он здесь, ваше благородие.

– Где здесь?

– В сенях, при кухне, дожидается.

– Кто же его звал?

– Не могу знать, ваше благородие, сам пришел, – говорит, будто известился в том, что скоро требовать будут.

– Ишь, говорю, какой торопливый, времени даром не тратит.

– Точно так, – говорит, он уже щенка вашего благородия чистым дегтем вымазал и с золой отмыл.

– Отлично, – думаю, – я все забывал приказать этого щенка отмыть, а мосье Мамашкин сам догадался, значит – практик, а не то что «иль мель боку», и я приказал Мамашкина сейчас же ввести.

## Глава двенадцатая

Входит этакий солдатик чистенький, лет двадцати трех-четыре, с маленькими усиками, бледноват немножко, как бывает после долгой болезни, но карие маленькие глазки смотрят бойко и сметливо, а в манере не только нет никакой робости, а, напротив, даже некоторая простодушная развязность.

– Ты, – говорю, – Мамашкин, есть очень сильно желаешь?

– Точно так, – очень сильно желаю.

– А все-таки нехорошо, что ты родительское благословение проел.

– Виноват, ваше благородие, удержаться не мог, потому дают, ваше благородие, все одну булочку да несносный суп.

– А все же, – говорю, – отец тебя не похвалит.

Но он меня успокоил, что у него нет ни отца, ни матери.

– Тятеньки, – говорит, – у меня совсем и в заводе не было, а маменька померла, а сапоги прислал целовальник из орловского кабака, возле которого Мамашкин до своего рекрутства калачи продавал. Но сапоги были важнейшие: на двойных передачах и с поднарядом.

– А какой, – говорю, – ты мне хотел секрет сказать об обегдоте?

– Точно так, – отвечает, а сам на Полуферта смотрит.

Я понял, что, по его мнению, тут «лишние бревна есть», и без церемонии послал Полуферта исполнять какое-то порученьишко, а солдата спрашиваю:

– Теперь можешь объяснить?

– Теперь могу-с, – отвечает: – евреи в действительности не по природе падают, а делают один обегдот, чтобы службы обежать.

– Ну, это я и без тебя знаю, а ты какое средство против их обегдота придумал?

– Всю их хитрость, ваше благородие, в два мига разрушу.

– Небось, как-нибудь еще на иной манер их бить выдумал?

– Боже сохрани, ваше благородие! решительно без всякого бойла; даже без самой пустой подщечины.

– То-то и есть, а то они уже и без тебя и в хвост и в голову избиты... Это противно.

– Точно так, ваше благородие, – человечество надо помнить: я, рассмотрев их, видел, что весь спинной календарь до того расписан, что открышку поднять невозможно. Я оттого и хочу их сразу от всего страданья избавить.

– Ну, если ты такой добрый и надеешься их без битья исправить, так говори в чем твой секрет?

– В рассуждении здравого рассудка.

– Может быть голодом их морить хочешь?

Опять отрицается.

– Боже, – говорит, – сохрани! пускай себе что хотят едят: хоть свой рыбный суп, хоть даже говяжий мыштекс, – что им угодно.

– Так мне, – говорю, – любопытно: чем же ты их хочешь донять?

Просит этого не понуждать его открывать, потому что так уже он поладил сделать все дело в секрете. И клянется, и божится, что никакого обмана нет и ошибки быть не может, что средство его верное и безопасное. А чтобы я не беспокоился, то он кладет такой зарок, что если он нашу жидовскую кувыркаллегию уничтожит, то ему за это ничего, кроме трех гривенников на выкуп благословенных сапогов не нужно, «а если повторится опять тот самый многократ, что они упадут», то тогда ему, господину Мамашкину, занести в спинной календарь двести палок.

Пари, как видите, для меня было совсем беспрюгрешное, а он кое-чем рисковал.

Я задумался и, как русский человек, заподозрил, что землячок какую ни на есть хитростью хочет с меня что-то сорвать.

## Глава тринадцатая

Посмотрел я на Мамашкина в упор и спрашиваю:

– Что же тебе, может быть, расход какой-нибудь нужен?

– Точно так, – говорит, – расход надо беспрюменно.

– И большой?

– Очень, ваше благородие, значительный.

Ну, лукавь, думаю, лукавь, – откройся скорее, – на сколько ты замахнулся отца-командира объегорить.

– Хорошо, – говорю, – я тебе дам сколько надо, – и для вящего ему соблазна руку к кошельку протягиваю, но он заметил мое движение и перебивает:

– Не извольте, ваше благородие, беспокоиться, на такую неткаль не надо ничего из казны брать, – мы сею статьею так раздобудемся. Мне позвольте только двух товарищей – Петрова да Иванова с собой взять.

– Воровства делать не будете?

– Боже сохрани! займем что надо, и как все справим, так в исправности назад отдадим.

Убеждаюсь, что человек этот не стремится с меня сорвать, а хочет произвести свой полезный для меня и евреев опыт собственными средствами, и снова чувствую к нему доверие и, разрешив ему взять Петрова и Иванова, отпускаю с обещанием, если опыт удастся, выкупить его благословенные сапоги.

А как все это было вечеру сущу, то сам я, мало годея, лег спать и заснул скоро и прекрепко.

Да! – позабыл вам сказать, что весьма важно для дела: Мамашкин, после того, как я его отпустил, пожелав «счастливо оставаться», выговорил, чтобы обработанные фингершпилером евреи были выпущены из-под запора на «вольность вольдуха», дабы у них морды поотпухли. Я на это соблаговолит и даже еще посмеялся: – откуда он берет такое красноречие, как «вольность вольдуха», а он мне объяснил, что все разные такие хорошие слова он усвоил, продавая проезжим господам калачи.

– Ты, брат, способный человек, – похвалил я его и лег спать, по правде сказать, ничего от него не ожидая.

## Глава четырнадцатая

Во сне мне снился Полуферт, который все выпытывал, что говорил мне Мамашкин, и уверял, что «иль мель боку», а потом звал меня «жуе о карт императорского воспитательного дома», а я его прогонял. В этом прошла у меня украинская ночь; и чуть над Белой Церковью начала алеть слабая предрассветная заря, я проснулся от тихого зова, который несся ко мне в открытое окно спальни.

Это будил меня Мамашкин.

Слышу, что в окно точно любовный шепот веет:

– Вставайте, ваше благородие, – все готово.

– Что же надо сделать?

– Пожалуйте на ученье, где всегда собираемся.

А собирались мы на реке Роси, за местечком, в превосходном расположении. Тут и лесок, и река, и просторный выгон.

Было это немножко рано, но я встал и пошел посмотреть, что мой Мамашкин там устроил.

Прихожу и вижу, что через всю реку протянута веревка, а на ней держатся две лодки, а на лодках положена кладка в одну доску. А третья лодка впереди в лозе спрятана.

– Что же это за флотилия? – спрашиваю.

– А это, – говорит, – ваше благородие, «снасть». Как ваше благородие скамандуете ружья зарядить на берегу, так сейчас добавьте им команду: «налево кругом», и чтобы фаршированным маршем на кладку, а мне впереди; а как жиды за мною взойдут, так – «оборот лицом к реке», а сами сядьте в лодку, посередь реки к нам визавидом станьте и дайте команду: «пли». Они выстрелят и ни за что не упадут.

Посмотрел я на него и говорю:

– Да ты, пожалуй, три гривенника стоишь.

И как люди пришли на ученье, – я все так и сделал как говорил Мамашкин, и... представьте себе – жид ведь в самом деле ни один не упал! Выстрелили и стоят на досточке, как журавлики.

Я говорю: «Что же вы не падаете?»

А они отвечают: «Мозе, ту глубоко».

## Глава пятнадцатая

Мы не вытерпели и спросили полковника:

– Неужто тем и кончилось?

– Никогда больше не падали, – отвечал Стадников: – и все как рукой сняло. Сейчас же, по всем трактам к Василькову, Сквире и Звенигородке, все, во едином образе, видели, как проезжал верхом какой-то «жид каштановатый, конь сивый, бородатый», – и кувыркаллегия повсеместна сразу кончилась. Да и нельзя иначе: ведь евреи же люди очень умные: как они увидели, что ни шибком да рывком, а настоящим умом за них взялись, – они и полно баловаться. Даже благодарили, что, говорят, «теперь наши видят, что нам нельзя было не служить». Ведь они больше своих боятся. А вскоре и «Рвот» приехал, и орал, орал: «запшаррю... закккаттаю!» а уж к чему это относилось, того, чай, он и сам не знал, а за жидов мы от него даже получили отеческое «благодарррю!», которое и старались употребить на улучшение солдатского приварка, – только не очень наварно выходило.

– Ну, а что же за все это было Мамашкину?

– Я ему выдал три гривенника на благословенные сапоги и четвертый гривенник прибавил за сбор этой снасти его собственными средствами. Он ведь все это у жидов те и позаимствовал: и лодки, и доски, и веревки – надо было потом все это честно возвратить собственникам, чтобы никто не обижался. Но этот гривенник все и испортил – не умели дурачки разделить десять на три без остатка и все у жида в шинке пропили.

– А благословенные сапоги?

– Вероятно, так и пропали. Ну, да ведь когда дело государственных вопросов касается, тогда частные интерес не важны.

*Впервые опубликовано – «Газета А. Гатцука», 1882.*